

СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ



*Железным людям —
походникам Антарктиды*

ВСТУПЛЕНИЕ

Поезд шел по Антарктиде.

Шесть запряженных в сани тягачей во главе с «Харьковчанкой» двигались по колее, утрамбованной поездами предшественников. Наступавшая ночь покрывала Антарктиду сумерками. Оттого снег, еще несколько часов назад ослепительно-белый, окрасился в темно-серые тона. Темно-серыми были тягачи, и колея, и небо над головою, и миллионы квадратных километров уходившего в ночь материка. Лишь искры, вылетающие из выхлопных труб тягачей, да звезды, тусклый свет которых изредка пробивал нависшие над ледяным куполом облака, позволяли увидеть оранжевые бока «Харьковчанки» и причудливо раскрашенные стены балков.

Это был самый обычный санно-гусеничный поезд. Такие из года в год бороздят Антарктиду, доставляя грузы из Мирного на Восток и возвращаясь обратно. Полторы тысячи километров в один конец, сорок дней пути туда, дней тридцать обратно — вот и все дела. Тяжелая дорога, но давно протоптанная, до метра знакомая.

Однако никогда еще поезд не возвращался с Востока в полярную осень.

Все когда-нибудь делается в первый раз. Кому-то судьба быть первым. Так было испокон веков: кто-то должен начать, испытать на себе, открыть. Вот и получилось, что десять человек на «Харьковчанке» и еще пяти тягачах первыми пошли по Антарктиде в полярную осень.

Вздрогнув всем телом, остановился один тягач, за ним другой и все остальные. К заглохшей машине подтягивались люди.

Они двигались тяжело и медленно, как-то скособочась. Но ничего странного в такой походке не было: быстро ходить по ледяному куполу не стоит: кислорода в воздухе как на вершине Эльбруса, и воздух этот сух, как в африканской пустыне. А скособочась они шли потому, что, хотя их лица и были закрыты подшлемниками, так что виделись лишь щелки глаз, все равно ветер пламенем обжигал кожу.

Люди остановились у тягача, негромко переговариваясь. Осмотрели, не торопясь, заглохший дизель, выяснили, что лопнул дюрит — резиновая трубка маслопровода. Принесли новый дюрит, заменили лопнувший. Потом посовещались и приступили к операции. Отвернули горловину цистерны и стали черпать оттуда густую массу, похожую на перенасыщенный крахмалом кисель. Набрав этой массы полбочки, разожгли из горбыля костер и поставили бочку на огонь. Спустя некоторое время масса начала таять, и от нее потянуло запахом солянки; тогда в бочку вставили одним концом шланг, а другой его конец сунули в топливный бак тягача.

Двигатель не успел по-настоящему остыть, и его запустили быстро, за час. Затем разошлись по своим тягачам и снова двинулись в путь. Впереди «Харьковчанка», за ней остальные машины.

От ближайшего жилья, станции Восток, их отделяло четыреста пятьдесят километров снежной пустыни. До Мирного, куда шел поезд, — тысяча.

Десять человек были одни во всем мире, одинокие, как на Луне. Никто на свете не мог им помочь: люди сюда не придут, самолеты не прилетят.

Столбик термометра застрял на отметке семьдесят два градуса ниже нуля...

СИНИЦЫН

Под утро Сеницыну приснилось, что он ведет трактор по припаю. «Бери влево! — слышит он. — Разводь!» Сеницын начал лихорадочно орудовать рычагами, но всегда послушный его рукам трактор, яростно взревев, на полной скорости рванулся к свинцовой воде. «Прыгай! Прыгай!» — отчаянный крик. Но поздно: трактор с грохотом проваливается.

Сеницын проснулся от своего сдавленного стога. Море штормило. В каюте было душно. Сеницын отер со лба пот, поднялся с постели и подошел к окну. Баллов пять, не больше. Вдали по правому борту возвышался исполинский айсберг, длиной, наверное, с километр, слева простиралось ледяное поле. Скука... Сеницын взглянул на верхнюю полку, на которой похрапывал Женя Мальков, завистливо вздохнул и снова улегся.

Не так он представлял себе первые дни возвращения домой.

Впрочем, подумал он, мечты всегда краше действительности. Три раза зимовал он в Мирном, и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья. Да разве только ему?

Всем. Но возвращаться приходилось на «Оби», которая из Мирного отправлялась сначала по остальным станциям — разгружаться и менять зимовщиков, забирать сезонников, и дорога домой растягивалась на два с половиной месяца. Поневоле осатанеешь. Правда, сейчас Сеницын возвращался на «Визе», но это тоже сорок дней и сорок ночей.

Сеницын закрыл глаза и принялся уговаривать себя заснуть. Всего два дня прошло, как закончилась самая тяжелая в его жизни зимовка. И самая неудачная.

А под конец зимовки природа сыграла с припаем злую шутку. Тридцатикилометровый припай дышал, лед расходился, чернел разводьями. А на берег нужно перевезти тысячу тонн груза! Будь Сеницын аэрологом или геофизиком, спал бы себе спокойно и ждал, пока не поднимут на вахту. Но начальник транспортного отряда отвечает в разгрузку за все: за работу на льду, за людей, за погоду. И с него спросили — строгали рубанком по живому телу. Почему не определил трассу раньше? Почему тракторы глохнут? Почему, почему?.. А потому! Будто не он еще до прихода «Оби» и «Визе» проводил дни и ночи на припае! Будто не его трактор провалился в трещину и не он, Сеницын, чудом остался в живых! Попробуй определи трассу, если даже ученые-гидрологи не понимают, как это в декабре, когда припай должен быть бетонным, вдруг ни с того ни с сего начались подвижки льда! А что тракторы глохнут, предупреждал: техника на пределе, пора обновлять парк.

«Молодец, Сеницын, — похвалил его тогда Макаров, помешивая в стакане ложечкой. — Язык у тебя подвешен хорошо, оправдался ты исключительно умело. Только зачем ты пошел в Антарктиду, Сеницын? В тебе погиб великий адвокат. Плевако!»

И с легкой руки начальника экспедиции к Сеницыну так и прилипло это прозвище.

Вот и засни... Чуть ли не месяц со своим сменщиком Гавриловым он искал трассу, а «Обь» все это время стояла, и капитан Томпсон, невозмутимый эстонец, холодно напоминал, что каждый день просто обходится государству в пять тысяч и что поломанный график ставит под угрозу снабжение не только Мирного, но и остальных станций. Наконец трассу нашли. Страшная это была трасса. Восемь покрытых ненадежными мостами многометровых трещин, десятки снежниц, в которые тракторы погружались по брюхо... Да еще пурга, туманы... Коля Роцин не уберется, не успел соскочить на лед. Правда, в этой трагедии ни Сеницына, ни Гаврилова никто не винил, все видели, что Коля самовольно срезал угол и пошел в стороне от трассы...

Вчера утром Синицын брился, увидел сизый клок — память об этой трассе...

Последние недели он почти не спал. Так, забывался сном на два-три часа, потом вставал, накачивался крепчайшим кофе и снова на припай. Что ж, он сделал все, что мог, и даже больше. И посему имеет право спать сколько влезет. «Чем больше спишь, тем ближе к дому», — вспомнил он изречение своего соседа. С Женькой ему повезло. Врач-хирург был весельчак и любимец Мирного, с ним легко и просто...

Было похudevшее тело, которое еще долго не отпустит от себя усталости, молил о покое мозг, а нелепо нарушенный сон так и не приходил. «Хорошо спят беззаботные и счастливые, а я как раз и есть такой, — уговаривал себя Синицын, — беззаботный и счастливый, потому что все кошмары зимовки и разгрузки позади и я возвращаюсь домой. А Даша хоть и начала отцветать, как положено от природы, но любить умеет по-молодому... Полтора месяца... Долго!»

И тут Синицын с ужасающей ясностью ощутил, что уваливает от самого главного. И уваливает напрасно, потому что это самое главное засело в мозгу, как стальная заноза. Если эту занозу не вытащить, полного счастья не будет. И виной тому Гаврилов.

Достаточно было дать себе в этом отчет, как все стало на свое место. Упреки Томпсона Синицын пропускал мимо ушей: капитан — опытный морской волк, здесь ему не повезло, там повезет, нагонит, войдет в график. Макаров? Неприятно, конечно, что пошлет вдогонку «телегу», замарает характеристику, но и этого Синицын не боялся: такому инженеру-механику, как он, найти стоящую работу нетрудно. Только узнают, что в Москву вернулся, тут же начнут телефон обрывать. К тому же с Антарктидой кончено, свое он отзимувал.

Гаврилов — вот кто не давал Синицыну покоя.

Память, не подвластная воле человека, сделала с Синицыным то, чего он боялся больше всего, — перебросила его в 1942 год.

Он стоял на часах у штаба, когда комбат, сибиряк с громовым басом, отдавал приказ командирам рот. И Синицын услышал, что батальон уходит, оставляя на высоте один взвод. Этот взвод должен сражаться до последнего патрона, но задержать фашистов хотя бы на три часа. Его, Синицына, взвод, второй взвод первой роты! И тогда с ним, безусым мальчишкой, случился солнечный удар. Жара стояла страшная, такие случаи бывали, и пострадавшего, облив водой, увезли на повозке. Потом по дивизии объявляли приказ генерала и салютовали павшим героям, больше суток отбивавшим атаки фашистов. И тут командир роты увидел рядового Синицына.

— Ты жив?!

Синицын сбивчиво объяснил, что у него был солнечный удар и поэтому...

— Поня-ятно, — протянул комроты и посмотрел на Синицына.

Никогда не забыть ему этого взгляда! С боями дошел до Берлина, честно заслужил два ордена, смыл никем не доказанную и никому не известную вину кровью, но этот взгляд долго преследовал его по ночам.

А теперь еще и Гаврилов.

Синицын его не любил. Было во всем облике, в поведении Гаврилова что-то вызывающее, раздражающее. Огромного роста, шумный, с вечно свисавшим на лоб всклокоченным чубом, Гаврилов повсюду, где он ни оказывался, вносил беспокойство. Он мог нагрубить самому высокому начальству, бешено хлопнуть дверью, и ему все это сходило с рук. Однажды он трахнул кулачищем по столу капитана, да так, что треснула полированная доска, а Томпсон, которого моряки втихомолку называли «старым пиратом», лишь ухмыльнулся, налил две стопки и выпил с Гавриловым на брудершафт. Все прощалось ему за размах и ярость, с которой он набрасывался на работу.

В прошлом Гаврилов дважды был сменщиком Синицына на посту начальника транспортного отряда. Но тогда дело обстояло по-иному. Синицын возвращался из похода на Восток, похода, который списывал все. Гаврилов, конечно, крыл Синицына за покалеченную технику, но дружелюбно. Грех изничтожать человека, прошедшего три тысячи километров самой трудной на земле дороги. Походников полярники уважали, походник имел право на льготы, как разведчик, вернувшийся из опасного рейда по вражескому тылу.

Но в эту зимовку Синицына преследовали неудачи: два тягача вышли из строя, еще для двух других не оказалось запасных частей, и при таких условиях о своевременном походе на Восток не могло быть и речи. Причины вроде были уважительные, за несостоявшийся поход Синицына никто вслух не обвинял, но от этого он не чувствовал себя лучше. Сам-то он знал, и его механики-водители знали, что в начале зимовки положение можно было исправить. Еще летали самолеты, а в Молодежной имелись запасные части. Да и ребята из механической мастерской, золотые руки, не раз предлагали заняться брошенными тягачами. С одного снять коленчатый вал, с другого главный фрикцион — смотришь, еще одна машина одета и обута. Не сделали, прохлопали, упустили время.

На Восток следует отправляться полярным летом, в начале декабря, чтобы вернуться в Мирный до мартовских холодов. Перед

Новым годом «Обь» приходила в Мирный с новой сменой, разгружалась и шла в Австралию за овощами и мясом. В двадцатых числах февраля возвращались с Востока походники, и примерно к этому же времени возвращалась из Австралии «Обь». Она-то и увозила походников на Родину.

Так было всегда. Теперь из этой привычной цепи выпало одно звено. Отряд Сеницына уже не мог пойти на Восток: «Обь» не успеет забрать походников, а зимовать два года подряд в Антарктиде никому не разрешается. Значит, отряду Гаврилова придется идти в поход по маршруту Мирный — Восток — Мирный дважды: прямо сейчас, в конце января, и потом — в декабре.

Но это еще полбеды. Хуже то, что Гаврилов пойдет на Восток на полтора месяца позже, чем обычно. Значит, и возвращаться он будет тогда, когда по Центральной Антарктиде уже не ходит никто.

Сеницын ждал, что Гаврилов будет размахивать кулачищами, крыть его последними словами. Но Гаврилов, вникнув в ситуацию, повел себя чрезвычайно спокойно. Не ругался, не дергал себя за чуб, не хлопал дверью — ничего подобного не было. Он только улыбнулся нехорошей улыбкой, подмигнул и тихо сказал:

— Сработаем. Плыви спокойно домой... Плевако!

И его водители, которых Гаврилов брал с собой из года в год, обидно засмеялись.

Как в душу плюнул!

И еще.

На «Оби» прибыло два новых тягача. Их следовало переправить в Мирный, переправить во что бы то ни стало, без них нечего было и думать о походе. А проклятый припай еле выдерживал тяжесть и легких тракторов.

Кому-то нужно было гнать тягачи на берег.

Никто не говорил о них ни слова, но в этом молчании Сеницын слышал вопрос. Он не подготовил технику, сорвал поход и не нашел вовремя трассу. Поэтому первый тягач перегонять ему — так молчаливо решило общественное мнение.

Но Сеницын не хотел погибать. Он понимал, что это значит — гнать двадцатипятитонный тягач по припаю! Рискнуть в начале зимовки — на это он бы, наверное, пошел, но идти на смертельный риск сейчас, за миг до возвращения домой...

И Сеницын боялся смотреть на тягачи, как приговоренный к смертной казни боится смотреть на виселицу.

Первый тягач перегнал Гаврилов. Улучив момент, когда начальства не было на борту (чутко поступил, чтобы не мучилось началь-

ство угрызениями совести!), спустил тягач на лед, похлопал машину по могучим бокам, потом залез в кабину и запустил мотор, высунулся из нее, заорал: «Счастливо оставаться!» — и на третьей передаче рванул по трассе. Проскочил. А за ним — второй тягач, по колее.

За ужином в кают-компании Макаров долго ругал Гаврилова за самоуправство, но тот отмахивался, довольно урчал и ел за троих. На Синецына он только раз взглянул и отвернулся. И вообще больше к нему не подходил, ни разу не обращался, словно бывшего начальника транспортного отряда уже не было в Мирном.

Вот почему Синецын долго не мог заснуть.

Ему мерещился Гаврилов и его взгляд, тяжелый взгляд командира первой роты летом сорок второго года. И никакими усилиями воли Синецын не мог прогнать от себя эти видения.

Когда он после войны вернулся домой с двумя боевыми орденами и не менее почетным, чем третий орден, шрамом во всю щеку, его, юного победителя, провожали по улице горящие глаза мальчишек, им гордился отец-учитель. Однажды он привел сына в школу, в которой Синецын когда-то учился, и представил его классу. И один восторженный мальчик, приветствуя героя от имени класса, воскликнул: «Дорогой товарищ гвардии сержант! Мы вам очень завидуем! Вы на всю жизнь счастливы, потому что у вас чистая совесть!»

Это было немножко смешно, но в общем справедливо. Тогда Синецын воспринял этот детский восторг как должное. Но с годами память, холодная и беспощадная, то и дело стала напоминать о том, о чем очень хотелось забыть навсегда. По ночам на Синецына напозаляли танки, в рукопашной в него вонзали кинжалы, его убивали, и он убивал. Он кричал во сне, и Даша ласково гладила его по лицу, успокаивая.

А когда он видел командира роты и товарищей, погибших на высоте, то просыпался без крика, но больше заснуть не мог.

А теперь еще и Гаврилов.

И вдруг у Синецына появилось смутное ощущение, что с Гавриловым связан еще какой-то очень неприятный эпизод. Он снова поднялся, подошел к окну и большими глазами уставился на однообразный и надоевший полярный пейзаж. Айсберги, льды, серое, промозглое небо... Что-то было еще, что-то было... Вспомнил!

Перед самым уходом «Визе» к нему подошел Гаврилов и, явно пересиливая себя, неприязненно буркнул: «Топливо подготовлено?»

Синецын, измученный бессонницей, падающий с ног от усталости, утвердительно кивнул. И Гаврилов ушел не попрощавшись, словно жалея, что задал лишний и ненужный вопрос. Ибо само собой

разумелось, что ни один начальник транспортного отряда не покинет Мирный, не подготовив своему сменщику зимнего топлива и техники. Ну не было в истории экспедиций такого случая и не могло быть! Поэтому в заданном Гавриловым вопросе любой на месте Сеницына услышал бы хорошо рассчитанную бестактность, желание обидеть и даже оскорбить недоверием.

Сеницын точно помнил, что кивнул он утвердительно.

Но ведь зимнее топливо как следует он подготовить не успел! То есть подготовил, конечно, но для своего похода, который должен был состояться полярным летом. А Гаврилов пойдет не летом, а в мартовские морозы, и поэтому для его похода топливо следовало готовить особо. И работа чепуховая: добавить в цистерны с соляром нужную дозу керосина, побольше обычного, тогда никакой мороз не возьмет. Как он мог запомнить!

Сеницын чертыхнулся. Нужно немедленно бежать в радиорубку, узнать, вышел ли Гаврилов в поход. Если не вышел, сказать правду: извини, оплошал, забыл про топливо, добавь в соляр керосина. Если же Гаврилов в походе, поднять тревогу, вернуть поезд в Мирный, даже ценой потери нескольких дней, чтобы разбавить солярку.

Сеницын начал одеваться, сочиняя в уме текст радиограммы, и остановился. Стоит ли поднимать панику, на скандал, проработку напрашиваться? Ну какие будут на трассе морозы? Градусов под шестьдесят, не больше, для таких температур и его солярка вполне сойдет.

Успокоив себя этой мыслью, Сеницын снял с кронштейна графин с водой, протянул руку за стаканом и нащупал на столе коробочку. В полутьме прочитал: «люминал». И у Женьки нервишки на взводе... Сунул в рот две таблетки, запил водой, лег и забылся тяжелым сном.

Через три часа санно-гусеничный поезд Гаврилова ушел из Мирного на Восток.

ГАВРИЛОВ

Хотя смерть Гаврилов видел много раз, по-настоящему в своей жизни он умирал дважды.

Впервые это случилось, когда ему было шесть лет и он заболел менингитом. Он метался в жару, ничего не сознавал и не слышал, как в разговоре отца и доктора решалась его судьба. Доктор, прискакавший верхом из далекой сельской больницы, предлагал сделать пункцию. Тогда мальчишка, быть может, останется жить, хотя за его

умственные способности доктор ручаться не станет. А если не сделать пункцию, то почти наверняка умрет.

Как потом узнал Гаврилов, отец сказал: «Пусть помирает. Не простит мне сын, если останется калекой».

Доктор развел руками и ускакал: ему каждый день нужно было кого-то спасать. А месяца через полтора он поехал навестить лесника. Думал, что сейчас, за поворотом, увидит небольшой свежий холмик, но увидел не холмик, а мальчишку, который из бутылочки поил молоком медвежонка.

Поговорив с мальчишкой о том о сем, доктор сказал леснику:

— Жить твоему пацану, Тимофей, до ста лет.

— Его забота, — сказал лесник.

— Один шанс из тысячи был у него.

— Мой Ванька своего не упустит, — согласился лесник.

Так Гаврилов выжил в первый раз.

А лет через двадцать его расстреляли немцы. Когда кончились боеприпасы, Гаврилов выполз из нижнего люка разбитого танка и стал отстреливаться из пистолета. Приберегал для себя последнюю пулю, но всадил ее в набегающего фашиста. Потом отбивался кулаками. Схватили. Избитый, с вывихнутой рукой валялся в лагере на сырой земле, а когда колонну повели через лес, прыгнул в кусты. Поймали, привели назад и для острастки остальных пленных расстреляли на их глазах из автомата. Сердобольные старушки из деревни потащили его хоронить, а он застонал. Выходил Гаврилова старик фельдшер в партизанском отряде, заштопал три дырки в груди. А потом отправили на «кукурузнике» в Москву, в госпиталь.

Излечившись, он удачно провоевал еще целых два года. Сменил в боях несколько «тридцатьчетверок», но всякий раз оставался жив и здоров: ни пуля, ни осколок не могли найти его огромного, налитого стальными мускулами тела.

Закончил Гаврилов войну гвардии капитаном, демобилизовался и начал мирную жизнь.

Но в этой мирной жизни очень мешал Гаврилову его характер. В войну он тоже мешал, но комбриг любил строптивого комбата и спускал ему немалые грехи за редкую храбрость и умение воевать. Даже нашумевшую историю с Кокоревым, начальником военторга корпуса, и ту генералу удалось замаять.

Случилось, что два дня бригада страдала без курева, даже проклинаемый всеми фронтовиками филичевый табак и тот кончился. А военторговская машина с куревом, как стало известно, проскочила не

той дорогой и намертво застряла в болоте. В это время в бригаду прибыл Кокорев и, на свою беду, натолкнулся на Гаврилова. Прояви себя начальник военторга дипломатом, и не было бы никакого скандала. Но на вопрос Гаврилова, когда снабженцы думают вытаскивать машину, Кокорев грубо посоветовал капитану обратиться по инстанции. Гаврилов побагровел и засопел — верный признак надвигающейся бури. Здесь бы Кокореву повернуться и уйти с честью, но он плохо знал, с кем имеет дело, и опрометчиво добавил: «Когда надо будет, тогда и вытащим, понятно?» Гаврилов вскипел, с помощью экипажа силой усадил Кокорева в танк и повез по лесным проселкам выручать военторговскую машину. Выручили. По дороге наскочили на засаду, ввязались в перестрелку, но благополучно выбрались, привеза с собой похудевшего от пережитых волнений пассажира.

— В следующий раз будешь знать, что танкисты окурков не подбирают! — вытаскивая бедолагу из люка, гремел Гаврилов.

Командир корпуса, к которому Кокорев побежал с жалобой, сначала хотел сурово наказать Гаврилова за самоуправство, но, будучи человеком, не лишенным чувства юмора, в конце концов ограничился полумерой: задержал представление Гаврилова к ордену...

Были у Гаврилова и другие проступки, но все ему сходило с рук, потому что никто другой так лихо не проводил разведку боем. Любил генерал своего комбата и любовь свою выражал тем, что первым посылал его в самый огонь — этот любую смерть обманет!

Возвратившись на родной Алтай, Гаврилов стал директором МТС. Не хватало запасных частей — съездил в свою танковую бригаду, добыл правдами и неправдами. Некому было работать на тракторах и машинах — выписал к себе ребят-танкистов, пережил их на истосковавшихся колхозных девчатах и построил молодоженам дома. Соседи вокруг шутили, что из своей МТС Гаврилов сделал воинскую часть, но в глубине души завидовали независимому прочному положению бывшего комбата. Уже пошли разговоры о том, что вот-вот заберут Гаврилова на повышение, в область, когда один случай все поломал.

Как-то приехал в МТС местного масштаба начальник, большой любитель охоты. Стояла распутица, и он, жалея новенькую служебную машину, попросил у Гаврилова «газик»: до озера, богатого дичью, было километров сорок. Гаврилов, с утра до ночи носившийся на этом «газике» по полям, не только наотрез отказал, но и наговорил начальнику много больше, чем, может быть, следовало. Начальник отшутился: сообразил, верно, что не сейчас нужно копыя ломать, но уни-

жения своего не забыл. А вскоре в МТС начали наезжать комиссия за комиссией...

Разругавшись, Гаврилов уехал на Север. Работал в леспромхозе, возил хлысты, ремонтировал тракторы и тосковал по настоящему делу. И вот однажды в Котласе встретил на улице своего комбрига, приехавшего навестить семью погибшего на фронте брата. Посидели, поговорили. А через месяц Гаврилов получил письмо. Генерал писал, что его друг, директор полярного института, ждет Гаврилова и намерен предложить ему то самое, настоящее дело.

Так Гаврилов стал полярником: зимовал на далеких станциях, дрейфовал на льдинах. Полюбил эту жизнь, хотя она и не баловала его. Как когда-то на фронте, здесь тоже ценили мужество и силу, а постоянная опасность цементировала дружбу людей, нуждавшихся друг в друге, как нуждаются в этом идущие в бой солдаты. Когда лопалась льдина или на лагерь шли торосы, Гаврилов сутками не спал, перетаскивая домики, спасая оборудование или расчищая взлетно-посадочную полосу. Дизелист и механик-водитель, который работает за двоих да еще и равнодушен к спиртному, — таких на Севере уважают. И получилось, что не только Гаврилов нашел себе дело, но и дело нашло его.

А вот жениться ему никак не удавалось, старики так и не дождались внука. Возвращаясь на материк, Гаврилов не раз пытался найти подругу по душе, но как-то неудачно. Жених он был завидный, с положением и деньгами, почти любая из одиноких женщин, которых после войны было немало, охотно вышла бы за него. И не то чтобы он был слишком привередлив или чрезмерно ценил себя, но не встречалась ему такая женщина, которую он смог бы полюбить. А без любви Гаврилов жены не хотел. В зимовку завидовал товарищам, мечтавшим о встречах с женами и детьми, давал себе слово, что на этот раз бросит на материке якорь, а возвращался, и все шло по-старому. Приближался к сорока годам Гаврилов, старели женщины, так и не дождавшись от него предложения, а он вновь уходил на зимовку, откуда некому было писать и где не от кого было ему ждать писем и радиограмм.

Однажды, возвращаясь после рейса домой, застрял из-за пурги в Архангельске. И вот давным-давно пурга улеглась, товарищи улетели на материк, а Гаврилов все жил в гостинице, коротая дни и дожидаясь вечеров, чтобы проводить домой медсестру Екатерину Петровну. Полюбил ее Гаврилов всем сердцем, с первого взгляда, как бывает только в книгах.

Ей было около тридцати, и у нее имелся соломенный муж, летчик, навещавший ее несколько раз в году, когда летал по этой трассе.

Подруги жалели сестричку, но поскольку она была хороша собой и горда, жалость эта была не очень искренняя, что вполне согласуется с природой женщин, особенно подруг. Благосклонности Екатерины Петровны добивались многие, однако повода сплетням она не давала и отваживала ухажеров корректно, но решительно.

С Гавриловым дело обстояло по-иному. Безошибочная интуиция подсказывала Екатерине Петровне, что этот огромный и вспыльчивый человек, который немеет при ее появлении, добивается от нее не милости на день, а неизмеримо большего. Про себя она назначила Гаврилову испытательный срок, один месяц — только до порога, а потом, поверив, сдалась. Гаврилов совсем потерялся от счастья, две недели любви стали для него высшей наградой за всю его жизнь. А потом она сказала: «Знаешь, Ваня, обнимаю тебя, а думаю о нем. Уходи, Ваня, прости меня».

Гаврилов молча ушел и с первым же рейсом улетел искать его. Нашел в летной гостинице Хатанги. Посмотрел на него Гаврилов и честно признался самому себе, что сравнение не в его пользу. Летчик был высок, мужествен и красив. «С такой физиономией в кино сниматься», — хмуро подумал Гаврилов, сознавая, что по сравнению с ним сам он выглядит как глыба неотесанного гранита.

Гаврилов не любил таких людей, каковым, по его мнению, все в жизни дается без труда: и успех у женщин, и всякая другая удача. А к этому человеку он испытывал особую неприязнь. Если бы летчик любил Екатерину Петровну, Гаврилов, наверное, простил бы ему и красивое лицо, и превосходно сшитую форму, и даже откровенный взгляд, каким тот ощущал явно равнодушную к нему официантку. Но летчик пренебрег женщиной, которую Гаврилов боготворил, и потому был в его глазах олицетворением всех пороков.

Разговора не получилось. Узнав, чего хочет от него этот увалень, летчик засмеялся и позвал товарищей.

— Еще один претендент на Катину руку! — поведаль он. Засмеялись и товарищи. — Ставь бутылку коньяку и бери. А нет денег, дарю мою Катюшу бесплатно! Только чур: как прилечу в Архангельск, выкатывайся из дому. Идет?

Гаврилов не сдержался, изо всей силы ударил кулаком по красивой роже. К счастью, летчик успел чуть отклониться, но все равно с пола он поднялся лишь с помощью товарищей. И — удивительное дело! — проснулась в человеке совесть. Сказал, что сам виноват и претензий к Гаврилову не предъявляет, но надеется в будущем с ним расчитаться. На том и расстались.

Дома Гаврилов пробыл не долго: тосковал и не находил себе места, пока не уехал водителем в антарктическую экспедицию. Трудный поход потребовал такого напряжения сил, что травма, казалось, прошла сама собой. Но когда «Обь» пришвартовалась к причалу Васильевского острова, Гаврилов с трудом заставил себя занести домой вещи: непреодолимая сила тянула его в Архангельск. Переоделся, поймал такси, поехал в аэропорт и через несколько часов был на тихой архангельской улице. Постучался, вошел. Екатерина Петровна, бледная и неузнаваемо похудевшая, кормила из ложечки годовалого мальчика. Посмотрел на него Гаврилов, и сердце его перевернулось: сын... Обнял безмолвную Катю, поцеловал заревевшего мальчишку и в тот же день увез их в Ленинград.

И с того дня не было человека счастливее его. Он жил ради Кати и сыновей, которых за десять лет у него стало трое, и, думая о них в разлуке, боялся верить своему счастью.

Ради них стал осторожнее и мудрее, берег себя и не лез на зряшный риск. В походах не снимал связанного Катей свитера, а к ночи, ложась спать, вынимал из планшета фотокарточку, на которой была его семья, и на сердце у него теплело.

Так и прожил пятьдесят лет Гаврилов, бывший комбат, а ныне «старый полярный волчара», как называли его друзья. Много раз дрейфовал, исколесил вдоль и поперек Антарктиду, повидал столько, что хватило бы и на несколько жизней.

Дважды его хоронили — выжил, в танках горел — не сгорел, в развodyх тонул — не утонул, в трещины падал — выкарабкивался. И во всех испытаниях не покидала его вера в свою счастливую звезду. Ничего в жизни не давалось ему сразу, за каждую удачу платил он потом и кровью, но если бы можно было снова пройти этот путь, то снова прошел бы его без сомнений и колебаний, не сворачивая ни на вершок. И только за последний поход винил себя Гаврилов. Упрекал, терзал себя за то, что недосмотрел, поверил на слово — кому поверил! — и обрек, быть может, на смерть девять преданных ему ребят.

И память возвращала его к тому роковому решению.

СВОБОДА ВЫБОРА

Пятый раз шел на станцию Восток Гаврилов, но никогда не приходил так поздно — в конце февраля.

На Востоке было холодно, но пока не очень, градусов пятьдесят пять. Считалось, что это даже тепло — настоящие морозы начинаются в апреле-мае, тогда здесь бывает минус восемьдесят, а то и под

девяносто. Восемьдесят восемь, во всяком случае, термометр в августе как-то показывал.

Бесценная для науки станция — полюс холода, геомагнитный полюс Земли. Жемчужина Антарктиды! Вот и ходят сюда поезда. Трудный, дорогостоящий поход, но без него никак не обеспечишь станцию топливом. А топливо — это тепло, которое Востоку нужнее, чем любому другому жилью на свете. Не хватит топлива — остановится дизельная, и через тридцать-сорок минут станция погибнет. Так что каждый санно-гусеничный поезд дарит станции год жизни. Если же поезд почему-либо не придет, люди, как птицы, улетят отсюда к теплу. Один раз, в Седьмую экспедицию, так уже случилось, и Восток на год осиротел. Многого недополучила наука за тот потерянный год.

Поэтому нет большего праздника для восточников, чем приход поезда. Но ни разу не встречали дорогих гостей в самом конце полярного лета, когда столбик термометра с каждым днем неумолимо падал вниз. Во все предыдущие экспедиции поезд в это время уже приходил обратно в Мирный. А теперь возвращаться придется весь март, а то и половину апреля, по ледяному куполу, скованному лютым холодом.

И радость восточников была омрачена тревогой.

Но ее старались не показывать, потому что походникам нужно было хорошо отдохнуть. Они пять недель вели перегруженный поезд. Особенно тяжело дался крутой подъем, начинающийся километрах в тридцати от Мирного. Чтобы вытащить наверх многотонный груз, в одни сани приходилось запрягать по два тягача. Потом тягачи возвращались обратно за другими санями, и так несколько раз — челночная операция, проклинаемая полярниками всех экспедиций. А двухметровые заструги у Пионерской, в которых тягачи застревали, как в противотанковых надолбах? Всю душу вытрясли из механиков-водителей эти заструги. Хлебнули горя и в зоне сыпучего, как песок, снега, где тягачам приходилось вытаскивать друг друга на буксире. А купол становился все выше, у Комсомольской он уже достиг высоты трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Правда, от горной болезни походники не очень страдали: сказывалась постепенность подъема, благодаря чему организм понемногу привыкал к нехватке кислорода.

К Востоку пришли измотанные, грязные, исхудавшие и несколько дней отдыхали. Отмылись в бане, посмотрели по традиции лучшие фильмы и беззаботно отоспались.

Но все равно настоящего праздника не получилось. Оттого, что о проблеме стараются не говорить, она не исчезает. И все замерли